

Владимир Гиляровский

# Пешком по шпалам



*Часть сборника  
Москва и москвичи (сборник)*



**Владимир Алексеевич Гиляровский**  
**Пешком по шпалам**  
Серия «Люди театра»

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=172962](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172962)*

*Москва и москвичи: Эксмо; М.; 2008*

*ISBN 978-5-699-11515-0*

**Аннотация**

«На первой неделе поста труппа дружески рассталась с Григорьевым, и половина ее «на слово» порешила служить у него следующую зиму. Контрактов у Григорьева никаких не полагалось, никаких условий не предлагалось. Как-то еще до меня один режиссер хотел вывесить печатные правила, которые привез с собой...»

# Владимир Гиляровский

## Пешком по шпалам

На первой неделе поста труппа дружески рассталась с Григорьевым, и половина ее «на слово» порешила служить у него следующую зиму. Контрактов у Григорьева никаких не полагалось, никаких условий не предлагалось. Как-то еще до меня один режиссер хотел вывесить печатные правила, которые привез с собой. Григорий Иванович прочитал их и ответил:

– Силой мил не будешь! Спрячьте-с!

Почти все поехали в Москву на великопостный актерский съезд, а «свои» – семья старых друзей-актеров – остались, и тут же была составлена маленькая труппа из десяти человек, с которой Григорьев обыкновенно ездил по ярмаркам и маленьким городкам. Для таких выездов была, кроме гардероба и обстановки, особая библиотека из ходовых пьес, очень умно сокращенных. По этой библиотеке все отобранные для нее пьесы, даже такие, как «Гамлет», «Ревизор» и «Разбойники» Шиллера, могли играть десять актеров. Все эти пьесы оставшейся труппой, кроме меня, новичка, были играны-переиграны и шли гладко, почти без суфлера.

Из новых актеров попал в нашу труппу Изорин.

Князь Имеретинский тоже уехал на Великий пост в Москву. Абакумыч постом за грех считал всякую игру, и пре-

красный фрейбергский бильярд, единственный в то время во всем Тамбове, с резиновыми бортами и на грифельной доске, пустовал. Мы с Васей весь вечер до самого закрытия трактира, пахнувшего постным маслом, играли пустые партии и за это время так изощрились свое искусство, что домовладелец Василий Морозов и его друг, барин в золотых очках, Николай Назарыч, мне проигрывали партии «так на так». Через несколько лет я уже в Москве узнал, что это были крупные шулера. Первый в игрецком мире носил кличку Василь Морозыч Темный, а второй – Николай Назарыч Расплюев, но не тот, с которого писал Сухово-Кобылин.

Вечера с Васей мы проводили за бильярдом, а весь день с утра читали, не выходя из библиотеки. До григорьевской библиотеки, со времени гимназии, я ни одной книги в руки не брал и теперь читал без передышки. Пьяная компания перевелась. Евстигнеев опять поступил на телеграф, Дорошка Рыбаков женился на актрисе Орловой и с ней вошел в состав нашей летней труппы. Оба крошечного роста, невзрачные и удивительно скромные и благовоспитанные. Рассказывали, что, когда их венчали, священник сказал им вместо поучения:

– Любите друг друга, памятуя неукоснительно, что отдельно ни того, ни другого никто не полюбит!

Главный же закоперщик наших пьяных компаний Семилетов совершенно изменился после скандала с «Адамовой головой».

Изгнанный из театра перед уходом на донские гирла, где отец и братья его были рыбаками, Семилетов пришел к Анне Николаевне, бросился в ноги и стал просить прощенья. На эту сцену случайно вошел Григорьев, произошло объяснение, закончившееся тем, что Григорьев простил его. Ваня поклялся, что никогда в жизни ни капли хмельного не выпьет. И сдержал свое слово: пока жив был Григорий Иванович, он служил у него в театре.

Летний сезон у нас распределялся по трем городам. На Пасху мы выехали в Борисоглебск по приглашению купца Иванова, скотопромышленника, выстроившего самый большой в городе дом – гостиницу с номерами – и в нем хорошенькую небольшую сцену.

Он часто наезжал в Тамбов то в театр, то на бега, где у него бежали лошади его завода, которых он сам выезжал. Это был высокий молодой человек в собольей поддевке и такой же шапке, совсем удалой добрый молодец, единственный сын старообрядки-богачки. Тайком от матери он тратил деньги на театр, а так как деньги были на отчете, то театральные расходы он переводил на конскую охоту, которая ему не воспрещалась. Иванов показывал счет на двенадцать тысяч рублей, из которых ему было нужно две тысячи передать Григорьеву за наши спектакли. Вася этот счет списал для памяти:

«Расходы по охоте

Ездовые рукавицы с лесктрическими пробками для резвости на приз по 100 рублей, 6 пар – 600 рублей.

Копытная мазь из крокодилового нутра для твердости из Парижа и Лондона – 300 рублей.

Наглазники, чтобы лошади не бесились и не пугались, на 12 лошадей, по 20 рублей – 240 рублей.

Беговые дрожки из Москвы от Арбатского и разная сбруя – 2550 рублей и т. д. и т. д.

Весь счет на сумму 12528 рублей».

О театре – ни слова, а это ему вскочило в копеечку. Вся труппа жила в его новой гостинице – прекрасной, как в большом городе. Квартира и содержание всей труппы шли за счет Иванова. Все проходило по секрету от матери, безвыездно жившей в своем имении в окружении старообрядческих начетчиков и разных стариц, которых сын ублажал подарками, чтоб они не сплетничали матери о его забавах.

Сыграли мы десять спектаклей, и накануне отъезда Иванов дал прощальный обед, на котором присутствовали местные дворяне со своим предводителем.

Особый успех это время имел Изорин – новый актер в нашей труппе. Однажды в Тамбове Илья Иванович Ознобишин привел на репетицию изящного мужчину средних лет с проседью на висках и с белыми ниточками в красивых, выхоленных, коротко подстриженных усах. Накануне внезапно заболел, простудившись, Песоцкий, который должен был играть Жоржа д'Орси, француза, в комедии «Гувернер». Узнав о болезни Песоцкого, Ознобишин обещал доставить на другой день актера, который мог бы заменить Песоцкого, пре-

красно игравшего эту роль.

Манеры, фигура, изящный французский выговор, знание роли нового актера поразили нас всех. На второй день Масленицы ставили «Дон Сезара де Базан». На афише было объявлено, что заглавную роль исполнит Н.П. Изорин, выступавший в ней в Париже. Успех огромный. Я видел лучших актеров в этой роли, от Далматова до Петипа включительно, и все-таки считаю Изорина наилучшим, и Гувернера лучшего я тоже никогда не видывал. Впрочем, помню прекрасного Гувернера, которого я видел в 1876 году в Московском артистическом кружке, – это был тоже не профессиональный актер, а любитель. Фамилия его была Беляй.

На Масленице Изорин выступал еще два раза в Карле Море. Когда в Тамбове кончился сезон, на прощальном ужине отъезжавшие на московский съезд предложили Изорину ехать с ними в Москву, где, по их словам, не только все антрепренеры с руками оторвут, но и Малый театр постарается его захватить.

Изорин встал, красивым жестом поднял бокал и сказал, что, пока Малый театр будет стараться его захватить, его успеют захватить другие, чего ему очень и очень не хочется...

– Рад бы в рай, да грехи не пускают – ведь я из тех, кому запрещено «на выстрел подъезжать к столице»!

И обратился к Григорьеву;

– А вот если Григорий Иванович возьмет меня на лето с

собой в Моршанск, там я полноправный гражданин.

\* \* \*

В Тамбове Изорин появился перед Масленицей, мирно проживал у своего друга, стараясь меньше показываться в «высшем» обществе, где были у него и друзья и враги. Но враги не личные, а по политическим взглядам.

Последние, из старых крепостников, называли его якобинцем, а чиновники, имевшие от правительства по службе секретные циркуляры, знали, что дворянину Николаю Петровичу Вышеславцеву, высланному из Парижа за участие в Коммуне в 1871 году, воспрещается министром внутренних дел проживание в столицах и губернских городах по всей Российской империи.

В Париже Н. П. Вышеславцев прожил в течение нескольких лет свое состояние и впоследствии был привлечен за участие в Коммуне, но, как русский дворянин известной фамилии, не был расстрелян, а только выслан. Когда он явился в Россию без гроша денег, родственники-помещики отшатнулись от «якобинца», и он проживал у своих друзей по их именам.

Моршанск в то время был небольшим городком, известным хлебной торговлей; в нем жило много богатых купцов, среди которых были и миллионеры, как, например, скопцы Плотицыны. Подъезжающих к Моршанску встречали сотни ветряных мельниц, машущих крыльями день и ночь. Внутри города, по реке Цне, стояла когда-то громадная водяная «Кутайсовская» мельница со столетней плотиной, под которой был глубокий омут, и в нем водились огромнейшие сомы.

На берегу Цны, как раз против омута, в старинном барском саду, тогда уже перешедшем к одному из купцов-миллионеров, находился наш летний театр. Около театра, между фруктовыми деревьями, стоял обширный двухэтажный дом, окруженный террасами, куда выходили комнаты, отведенные труппе. Женатые имели отдельные комнаты на верхнем этаже, холостые помещались по двое и по трое. Там же, рядом с квартирой семьи Григорьева, была и большая столовая, но обедали мы больше на широкой террасе, примыкавшей к столовой.

Обед подавался ровно в два часа, после репетиции. Все садились за общий стол – на одной половине семейные, на другой – холостяки. У некоторых отдельные тарелки, свои серебряные ложки, а мы хлебали из общих чашек, куда крошили мясо, и брали его деревянными ложками только тогда,

когда до дна кончали первую подачу шей и нам подливали вторую. На второе давали всякое жаркое: то целый баран на двух противнях, то телячья нога, то гусь с картошкой или индюшка. По воскресеньям обязательно бывали пироги. Всем хозяйством заведовали Анна Николаевна и Надя, в свободное время варившие в саду на жаровнях огромное количество варенья на зиму.

Труппа все время пополнялась. Приходили из разных городов безвестные актеры.

– Григорий Иваныч, я к тебе, – заявляется «благородный отец» Никонов.

Или слышен голос комической старухи Бессоновой, знакомой Анны Николаевны:

– Мой-то мерзавец от меня с хористкой бежал!.. И гардероб весь она увезла, подлюга!

– Ступай наверх, сейчас обедать будем, или к Семилетову, он комнату укажет, – говорил Григорий Иванович Никонову.

– Бедная Марья Егоровна! Ах, он негодяй! Пойдем варенье варить!

Обнимутся, расцелуются.

Сборы были недурные. Особым успехом пользовался Изорин и, как всегда, Григорьев. Вася играл певучих простаков и водевили с молоденькой актрисой Ермиловой. Труппа была трезвая, разве только иногда Изорин «нарежется» дорогими винами – водки он не пил. Григорьев не давал ему денег на руки, а пару платья и пальто, сшитые у лучшего

портного, выдали Изорину в счет жалованья, да неудачно: получил он платье в «запойную полосу», тут же его продал и приехал в сад из города с корзиной коньяку «Финь-Шампань» и бутылками шамбертена.

Так без пальто и проходил Изорин весь сезон, появляясь в своем заграничном плаще, ночью служившем ему одеялом, и в поношенной уже чесучовой паре, которую часто отдавал в стирку, а пока стирали, ходил на репетиции, эффектно задрапировавшись в тот же плащ. Наконец Григорьев сам привез ему от портного казინетовые штаны и пиджак.

Приехал еще Львов-Дитю и привез с собой Соню. Он нашел ее в самом несчастном положении в Липецке, в гостинице, где ее бросил Тамара, обобрав у нее даже последние кольца. Она была совершенно больна, и только хозяин гостиницы, друг Григорьева, кормил, лечил ее и предлагал денег, чтобы доехать до Тамбова.

В это время Львов узнал о ее положении и поспешил к ней. Соня обрадовалась ему, как родному, и, узнав, что отец с трупой в Моршанске и что в Тамбове, кроме дворника Кузьмы с собакой Леберкой, в театре никого нет, решила поехать к отцу по совету Львова. Он проводил ее – Соня была слаба и кашляла кровью.

Как-то в шесть часов утра Вася разбудил меня и рассказал, что Соня приехала безнадежно больная. Ее поместили и маленьком павильончике, где жили супруги Казаковы, а их перевели к нам в дом. Но и в этом уютном павильончике

больной было беспокойно: с шести вечера до двух ночи гремел на эстраде военный оркестр вперемежку с разными рожечниками, гармонистами и другими шумными аттракционами. Григорий Иванович решил поместить Соню под Тамбовом, в имении своего друга доктора, но без себя не решался отпустить дочь в дорогу, а отъезд его срывал весь репертуар, державшийся отчасти и на нем.

Этот вопрос решила открытка Семилетова из Кирсанова: «Театр в порядке, освещение налажено, оркестр для антрактов имеется, квартиры для актеров приготовлены, афиши расклеены».

Сезон закончили с адресом Григорьеву от публики и подарками кое-кому из актеров. Григорьев с семьей, Казаковы и Львов-Дитю, который вынес Сонечку на руках в экипаж, выехали вечером, а мы, чтобы не обращать на себя внимания жителей, отправились в ночь до солнечного восхода. Не хотели разочаровать публику, еще вчера любовавшуюся блестящими грандами, лордами, маркизами и рыцарями, еще вчера поднесшую десятирублевый серебряный портсигар с надписью: «Великолепному Н. П. Изорину от благодарного Моршанска».

Миновав глухими, сонными улицами уже шумевший базар, проследовала наша телега, на которой сидели три дамы: хорошенькая Ермилова, куколка Рыбакова, ворчунья Бессонова, и величественный, в золотых очках Качевский – за кучера. А кругом мы – кто как, кто в чем... Миновав благопо-

лучно городскую заставу, от которой остался еще один раскрашенный угольниками казенный столб бывшего шлагбаума, мы двинулись по степи, оживленной свистом тушканчиков. На утреннем ветерке мельницы там и тут, по всему горизонту, махали крыльями: большие, шатровые мельницы и маленькие избушки на курьих ножках с торчащим вбок воротом, которым мельник, весь в муке, подлаживал крылья под ветер. Навстречу нам тащились телеги с зерном. Возчики, мужики в серых понитках сверх домотканых рубах, снимали картузы или шляпы-гречушники и отвешивали поклоны. Долго стояли они, пораженные величием Изорина в шляпе Карла Моора с огромными полями и осанкой высокого юноши Белова, важничавшего перед встречными своей красно-желтой кофтой из блестящей парчи, в которой еще на днях Бессонова играла сваху в «Русской свадьбе». На голове у него была, тоже из реквизита, фуражка с красным околышем и кокардой, которую могли носить только дворяне и военные. Белов был крестьянин, сын кирсановского портного, работавшего иногда на приезжих актеров. Он убежал от отца в театр и играл у нас в Моршанске маленькие рольки. Впоследствии, года через три, Белов играл в Пензе Гамлета, а пока он гордо и важно откозыривал мужикам.

Изорин сначала вынимал из поднесенного портсигара папироски «Заря», два десятка которых купил в городе, а потом где-то в деревне раздобыл махорку и до самого Кирсанова искуривал уцелевшую в кармане какую-то роль, затяги-

ваясь с наслаждением «собачьей ножкой», и напевал вполголоса: «Allons enfants de la patrie», благо в глухой степи некому запретить ни «Марсельезу» якобинцу, ни дворянскую фуражку сыну деревенского портного.

На наше счастье, все время погода была великолепная – ни дождей, ни обычного в то время жгучего суховея с астраханских и задонских степей. Ночи были теплые, тихие. Спали мы вповалку, разостлав на земле палатку, которую взяли на случай дождей. Утром мы раздували костерчик, кипятили чайник, днем варили обед, благо картошка даром (рыли в полях), а вечером так же ужинали. Было у нас пшено и греча – кулеш варили с салом и ветчиной, иногда в редких деревнях покупали яйца, молоко, баранину, курицу. Когда перед отъездом мы попросили Григория Ивановича купить нам картошки (а она была пятиалтынный мера), то он сказал:

– Помилуйте-с, где же это видано, чтобы в августе картошку покупали? Ночью сами накопаете.

\* \* \*

Ваня Семилетов нашел нам квартиры дешевые, удобные, а кто хотел – и с харчами. Сам он жил у отца Белова, которого и взял портным в театр. Некоторые актеры встали на квартиры к местным жителям, любителям драматического искусства. В Тамбов приехали Казаковы и Львов-Дитю. Григорий Иванович был у больной дочери. Его роли перешли к Льво-

ву, и он в день открытия играл Городничего в «Ревизоре».

Григорий Иванович, по традиции, каждый сезон открывал обязательно «Ревизором» всюду, будь то губернский город или ярмарочный театр. Для последнего у него был особый «Ревизор», так сильно сокращенный, что труппа в десять человек играла его.

Играли по несколько ролей каждый, все было очень хорошо. Я играл Добчинского, купца Абдулина и Держиморду, то и дело переодеваясь за кулисами. Треуголка и шпага была одна. Входившие представляться чиновники брали их поочередно. Огромный Городничий повторял свою роль за суфлером, но это уже был не Качевский, его вытребовал Григорьев, а молодой прекрасный суфлер С.А. Андреев-Корсииков.

Вместо уехавшего в Тамбов Семилетова приехал новый декоратор, Яковлев-Чумак, попавший в театр из чумаков: в юности он на волах соль из Крыма возил.

Как бы то ни было, сезон закончился хорошо, труппа переехала в Тамбов, Андреев-Корсииков сманил меня в Рязань, куда получил ангажемент, и мы с ним зашагали по шпалам из Кирсанова в Рязань, ночуя под ставками снеговых щитов, сложенных избушкой, закусывали на станции всухомятку и баловались чайком у путевых сторожей.

От станций мы держались подальше, так как всех документов у нас было – по паре афиш с моим псевдонимом. Андреев-Корсииков мог указать любую фамилию на афише, так

как он был безымянный суфлер. Паспортов у нас не было, а Андреев-Корсиков мог бояться всяких властей не меньше меня – недаром он сразу подружился с Изориным и распевал с ним «Марсельезу», которую никто кругом не понимал. Уж много после я узнал, что Андреев-Корсиков был народником и в Москве в начале семидесятых годов ютился в «Чернышах» то у Васильева-Шведевенгера, то у Мишля-Орфанова, а потом служил в Александрийском театре и был выслан из Питера за хранение революционных изданий.

\* \* \*

Шли хорошо до Тамбова, но там никого не застали – театр был заперт, и ресторан Пустовалова еще не открывался. Заняли у дворника Кузьмы два рубля и зашагали дальше по шпалам.

Я был одет в пиджак, красную рубаху и высокие сапоги. Корсиков являл жалкую фигуру в лаковых ботинках, шелковой, когда-то белой стеганой шляпе и взятой для тепла им у сердобольной или зазевавшейся кухарки ватной кацавейки с турецкими цветами. Дорогой питались желтыми огурцами у путевых сторожей, а иногда давали нам и хлебца. Шли весело. Ночевали на воздухе. Погода стояла на наше счастье, теплая и ясная.

Перед Рязском начались дожди. Здесь Корсиков, окончательно лишившийся лаковых ботинок, обезножел, и мы оста-

новились в номере и стали ходить на вокзал, чтобы устроить как-нибудь проезд до Рязани.

Хозяин, видя наши костюмы, на другой же день стал требовать деньги и уже не давал самовара, из которого мы грелись простым кипятком с черным хлебом, так как о чае-сахаре мы могли только мечтать. Корсиков днем ушел и скрылся. Я ждал его весь день.

Наконец вечером ко мне стучат. Молчу. Слышу – посылают за полицией. Это единственно, чего я боялся, так как паспорта, как я уже говорил, никогда не имел и считал его совершенно излишним, раз я сам налицо.

На улице дождь, буря, темь непроглядная. Я открыл окно и, спустившись на руках сколько можно, спрыгнул в грязь со второго этажа – и с тех пор под этим гостеприимным кровом более не бывал.

Корсиков оказался в Рязани, куда уехал с случайно встреченным приятелем; впрочем, за это коварство я ему благодарен: он меня стеснял дорогой своей слабостью.

Весь мокрый, голодный, я вскочил на площадку отходившего товарного поезда и благополучно ехал всю ночь, только, подъезжая к станции, соскакивал на ходу, уходил вперед и, когда поезд двигался, снова садился.

Как бы то ни было, а до Рязани я добрался. Были сумерки, шел дождь. Подошвы давно износились – дошло до родительских, которые весьма и весьма страдали от несуразной рязанской мостовой.

Добрался до театра. Стучу. Заперто кругом. Стучу в первую попавшуюся дверь и слышу голос:

– Какого там дьявола леший носит?

Клянусь: ангельское пение не усладило бы так мой слух, как эта ругань.

– Семен, отпирай! – гаркнул я в ответ, услышав голос Корсикова.

– Володя, это ты? – как-то сконфуженно ответил мой Корсиков, отпирая дверь.

– Я, брат, я!

Мы вошли в уборную, где в золоченом деревянном канделябре из «Отелло» горел сальный огарок и освещал полбутылки водки, булку и колбасу. Оказалось, что Корсиков в громадном здании театра один-одинешенек. Антрепренер Воронин уехал и деревню, сторожа прогнали за пьянство.

Обменявшись рассказами о наших злоключениях, мы завалились спать. Корсиков в уборной устроил постель из пачек ролей и закрылся кацавейкой, а я завернулся в облака и море, сунул под голову крышку гроба из «Лукреции Борджиа» и уснул сном счастливого человека, достигшего своей цели.

Зажили мы всюю. Андреев устроил меня помощником режиссера, и я, перезнакомившись со всей труппой, благополучно исполнял свою должность.

Славные в ней были люди, среди них имелись и крупные известности, как, например, Н. П. Киреев, его жена «гран-

дам» Е. Н. Николаева-Кривская, актер-поэт Н.С. Стружкин, а нередко заезжали гастролеры из столиц. В числе последних была и служившая в Тамбове инженеру Наталья Агафоновна Лебедева с мужем.

Они ехали в Москву служить в Московский артистический кружок, звали и меня с собой, обещая устроить. Впоследствии это приглашение мне очень пригодилось, и пока я остался в Рязани. Сборы были недурные, труппа хорошая, и все товарищи милые люди, кроме разве антрепренера Воронина, грубого и дерзкого человека. Театр был на имя его жены, пожилой актрисы. Фамилию ее я забыл, но помню, что она производила впечатление хорошо воспитанной женщины. Звали ее Марией Людвиговной. И как их свела судьба! Он был здоровенный, пузатый и усатый, с курчавыми волосами, с лицом цвета мулата и солдафонскими приемами. Бывший солдат, потом театральный буфетчик и, наконец, антрепренер. Как-то в иллюстрированном издании «Хижина дяди Тома» я видел картинку с надписью: «Замбо и Квимбо». Изображены на ней были два мулата с бичами в руках, и у каждого на сворке по огромному бульдогу. Морды собак походили на их хозяев, а Воронин походил на обоих этих палачей, терзавших негров.

И обращался Воронин с хористами, статистами и театральными рабочими, как Замбо и Квимбо с неграми, – затрещины сыпались направо и налево, и никто не возражал. Со мной, впрочем, он был очень вежлив, потому что Андре-

ев, отрекомендовав меня, сказал, что я служил в цирке и был учителем гимнастики в полку, а я подтвердил это, умышленно при приветствии пожав ему руку так, что он закричал от боли и, растирая пальцы, сказал:

– Что же это вы кости ломаете!

– Извините, Владимир Павлович, это я так, потихонечку.

Крупных артистов он держал в руках благодаря самому зверскому контракту, какой я когда-либо видел. В контракте было шестьдесят шесть пунктов. Целиком списываю с оригинала некоторые. Пункт 36-й: «Артисты обязаны брить усы, бороду и бакенбарды». Пункт 62-й: «Артисты не имеют права без письменного разрешения выезжать из города. Отлучаясь из своей квартиры, обязаны оставлять свой адрес, где их можно найти». Пункт 66-й: «Предпринимателю предоставляется право прекратить действие сего договора без ответственности, когда признаки беременности артистки станут заметными».

Весь контракт был сплетением юридических ухищрений, отдающих актера в руки антрепренера без всякой ответственности с его стороны.

И Воронин пользовался своей силой, редко натываясь на сопротивление.

Декоратором у него служил сын известного чтеца П. А. Никитина, Адам Павлович Никитин-Фабианский. Человек талантливый, остроумный и озорной. Воронинскую дерзость он долго сносил молчаливо, но в конце концов отомстил же-

стоко.

Для какой-то пьесы, «Орфея в аду» или «Казни безбожного», задняя декорация изображала ад: кипели грешники в котле, черти подкладывали дрова, в середине восседал на троне сам Вельзевул со своей свитой.

На репетиции декорацию осмотрели, все любовались, а Воронин даже поблагодарил художника.

Вечером спектакль. Сбор полный. На бенефис Воронина собралась почтить вся администрация во главе с губернатором, седые баки которого выглядывали из губернаторской ложи.

Перед самым началом акта Фабианский с красками и кистью вертелся у занавеса и бросал наскоро штрихи то там, то тут. На него никто не обратил внимания. Наконец зычный голос Воронина:

– Васенька, занавес!

Длинный, в люстриновой со сборками поддевке, какую носили старообрядцы, в смазных сапогах, молодой человек, с пробором на середине головы, бесшумно поднял занавес, и под ярким светом ramпы загорелась замечательная декорация ада.

Бешеные аплодисменты. Губернатор высунулся из ложи, взглянул и спрятался. Театр гудел.

Публика увидела двух губернаторов: одного в ложе, а другого (с такими же точно баками) заседавшего на декорации на троне Вельзевула... Как живого! Рыжий, с раздвоенной

бородой полицмейстер кипит в котле, а огромный курчавый дьяволице, живой портрет Воронина, подкладывает под котел дрова. В следующем котле благообразный городской голова, а вокруг Вельзевула чиновничий и вельможный персонаж города... Кончилось это огромным скандалом. Губернатор приказал арестовать декоратора, но его не нашли, а утром узнали, что он с начала спектакля укатил из города.

Вскоре укатить из города пришлось и мне по его примеру.

Как-то во время спектакля, в последнем антракте, Воронин за кулисами так ударил хориста Клюквина, что у него кровь носом пошла. За это от меня Воронин получил здоровую пощечину. Не успев еще встать с пола, он закричал:

– Позвать пристава!

Запахло протоколом, а при этом и паспорт спросят... вообще скандал!

Я надел пальто и вышел, ни с кем не попрощавшись. Зашел домой – жил я у певчего недалеко от театра, – заплатил три рубля за квартиру, сказал, что еду в Саратов, распрощался дружески и ушел, захватив с собою свое имущество: узелок с переменной белья. Больше ничего не было. Аркашка Счастливец был богаче меня – у него афиши были, а у меня и этого не было: афиши с фамилией Луганского, сыгравшего Добчинского, оставил в режиссерской. Вышел и направился к вокзалу, а навстречу мне длинная знакомая фигура шагает: Василий Иванович Солодов.

– Вася, рад, что встретил тебя... Ну, прощай, я на поезд...

Удирать надо!

– С чего это? Из-за Воронина, что ли? Мало его били. В прошлом году Рахимов колотил... В третьем Докучаев измордовал и контракт разорвал...

– За полицией послал!

– Да он сам полиции боится. Ведь приставу за хлопоты дать надо красненькую, а он за рубль удавится. Встал после плюхи, морда распухла – и пошел. Только сказал: «Этого разбойника не пускать в театр, прямо по шее гнать».

\* \* \*

Вася Солодов – сын богатого, но совершенно серого купца, имевшего, кажется, лесной склад. Ему было тогда около двадцати лет, и он был страстный театрал – с детства бывал всегда в театре. Это был его университет, в который он попал прямо из трехклассного народного училища, где он кончил учение первым. Отец и дед не пустили его учиться дальше, а усадили за конторку на складе, доверив ему и кассу, в которой всегда водились тысячи. Они знали, кому верили: не пьет, не курит, не играет в карты, наряжаться не любит – лучшего кассира не придумаешь. Бывало, спросит у отца пять или десять рублей на театр или книги, ответ всегда один:

– Кассыя у тебя на руках, бери, сколько надоть. Все твое да мое.

Против театра ни отец, ни мать ничего не имели. Чтобы не

беспокоил их поздним возвращением, ему в доме отделили квартирку, где он и завел библиотеку.

Театр был действительно его университетом: увидел, например, Вася драму «Борис Годунов» на сцене – сейчас Пушкина купил. После «Гамлета» – Шекспира выписал, после «Разбойников» – Шиллера приобрел и читал, читал.

В складе сидит, а книга в руках. Сначала ходил на галерку, потом до задних рядов партера дошел, а там, заведя дружбу с актерами, за кулисами своим человеком стал. Так и прижился. Перед началом спектакля он рабочим и бутафору помогал, а потом его главной бессменной работой было поднимать занавес, что он делал и ловко и бесшумно. Нуждающимся актерам деньжатами помогал, в случае серьезной необходимости и довольно крупно, но пьяницам не любил давать, да и не znalся с ними. На репетициях бывать ему было некогда: в конторе служба, в спектакле – у занавеса, так что и в буфет он никогда не заглядывал.

Убедившись, что я решил ехать, Вася предложил зайти к нему и в Москву выехать с шестичасовым поездом. В уютных двух комнатах с книжными шкафами была печечка, из которой Вася вынул горшок щей с мясом, а из шкафа пирог с капустой и холодную телятину и поставил маленький самоварчик, который и вскипел, пока мы ужинали. Решили после ужина уснуть, да проговорили до пяти часов утра – спать некогда.

Мне стыдно было, что он знает больше меня пьес; он пере-

видал много знаменитостей, говорил о них, передавал свои впечатления об игре, рассказывал сюжеты пьес, которые я узнал много времени спустя.

На мой вопрос, почему он поднимает занавес, когда у него есть средства сидеть в партере, он ответил:

– Только не из жадности! Бывать за кулисами стоит не дешевле, а пожалуй, и подороже, а вот люблю я бывать за кулисами... Не потому, что кругом и короли, и царицы, и рыцари, и герои, с которыми запросто разговариваешь. Нет!.. Сперва действительно и это меня интересовало... Вдруг Иван Грозный тебе руку подает или Жанна д'Арк, в латах и золоченом шлеме, обращается с просьбой: «Васенька, застегните мне пряжку – самой не достать»... Дивно все это – вдруг в «Казни безбожника» сатана с рогами и хвостом перед выходом на сцену крестится... Нет, просто я привык за кулисами, передружился с актерами, своим человеком стал. В театре я образование получаю – это мой университет.

Уже на вокзале он дал мне двадцать пять рублей, и, когда я отказывался, он просил его не обижать.

– Спасибо. При первой же получке я вам вышлю, Васенька.

Он замахал руками, а потом прибавил:

– Вот в том-то и дело, что это не долг, а просто я прошу вас исполнить мое поручение. Я никому в долг не даю и вынутые из кармана деньги уже не считаю своими, а пускаю их в оборот – гулять по свету. С вами мы квиты. Но я вам их

не дарю, конечно. Только вы их должны не мне, а кому-то другому... И я попрошу вас передать их только тогда, когда у вас будут свободные деньги.

– Да кому же, я не понимаю?

– А вот кому! Когда при деньгах вы встретите действительно хорошего человека, отдайте ему эти деньги или сразу все, или несколькими частями – и, значит, мы квиты. А тех, которым вы дадите деньги, обяжете словом поступить так же, как вы. И пойдет наша четвертная по свету гулять много лет, а может, и разрастется. Ежели когда будет нужда в деньгах – пишите, еще вышлю. Всякое бывает на чужой стороне...

На прощанье сказал:

– Сейчас же черкните, как доехали, и адресок, где остановились.